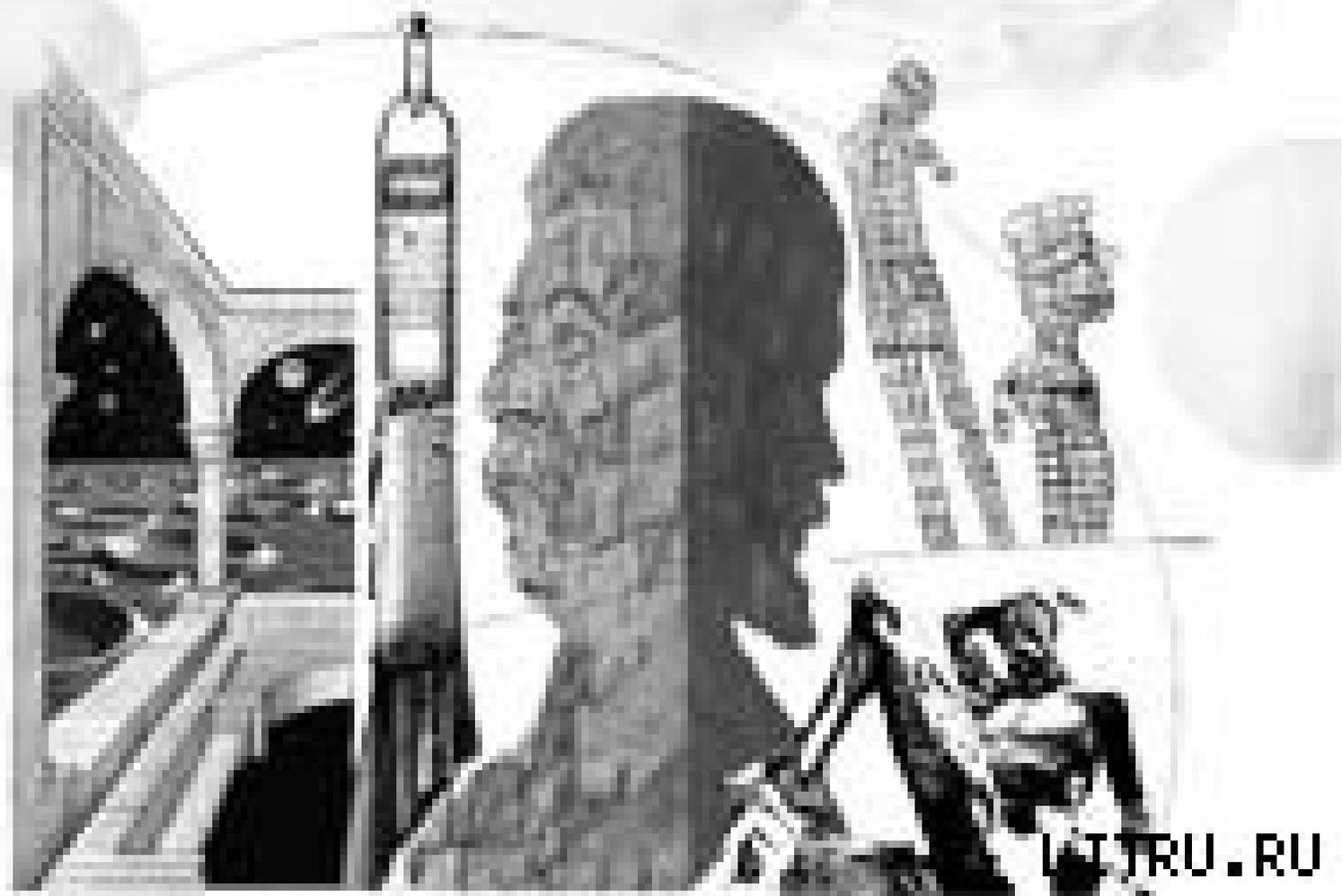


Виктор

ПЕЛЕВИН

ОМОН РА



Annotation

"Омон Ра" - это жуткая история о том, как кровавый советский режим запускал в космос корабли на человеческой тяге, а происходило это в действительности или...

По мнению одного из собратьев по перу, Пелевина можно читать с начала, с середины, с конца - как священное писание. Очень точно подмечено.

Читайте Виктора Пелевина с любого места!

Виктор ПЕЛЕВИН

Омон Ра

Героям Советского Космоса

Омон – имя не особо частое и, может, не самое лучшее, какое бывает. Меня так назвал отец, который всю свою жизнь проработал в милиции и хотел, чтобы я тоже стал милиционером.

– Пойми, Омка, – часто говорил он мне, выпив, – пойдешь в милицию – так с таким именем, да еще если в партию вступишь...

Хоть отцу и приходилось иногда стрелять в людей, он был человек незлой души, по природе веселый и отзывчивый. Меня он очень любил и надеялся, что хотя бы мне удастся то, что не удалось в жизни ему. А хотел он получить участок земли под Москвой и начать выращивать на нем свеклу и огурцы – не для того, чтобы продавать их на рынке или съесть, хотя и это все тоже, а для того, чтобы, раздевшись до пояса, рубить лопатой землю, смотреть, как шевелятся красные черви и другая подземная жизнь, чтобы возить через весь дачный поселок тачки с навозом, останавливаясь у чужих калиток побалагурить. Когда он понял, что ничего из этого у него не выйдет, он стал надеяться, что счастливую жизнь проживет хотя бы один из братьев Кривомазовых (мой старший брат Овир, которого отец хотел сделать дипломатом, умер от менингита в четвертом классе, и я помню только, что на лбу у него была продолговатая большая родинка).

Мне отцовские планы на мой счет особого доверия не внушали – ведь сам он был партийный, имя у него было хорошее – Матвей, но все, что он себе выслужил, это нищую пенсию да одинокое старческое пьянство.

Маму я помню плохо. Осталось в памяти только одно воспоминание – как пьяный папа в форме пытается вытянуть из кобуры пистолет, а она, простоволосая и вся в слезах, хватается его за руки и кричит:

– Матвей, опомнись!

Она умерла, когда я был совсем маленьким, и я вырос у тетки, а отца навещал по выходным. Обычно он был опухший и красный, с косо висящим на засаленной пижамной куртке орденом, которым он очень гордился. В комнате у него нехорошо пахло, а на стене висела репродукция фрески Микеланджело «Сотворение мира», где над лежащим на спине Адамом парит бородатый Бог, простерший свою длань навстречу тонкой человеческой руке. Эта картинка довольно странно действовала на душу отца и, видно, что-то ему напоминала из прошлого. У него в комнате я обычно сидел на полу и играл с маленькой железной дорогой, а он храпел на раздвинутом диване. Иногда он просыпался, некоторое время щурил на меня глаза, а потом, опершись о пол, свешивался с дивана и протягивал мне большую венистую кисть, которую я должен был пожать.

– Фамилия твоя как? – спрашивал он. – Кривомазов, – отвечал я, поддельвая застенчивую улыбку, и он гладил меня по голове и кормил конфетами; все это выходило у него так механически, что мне даже не было противно.

О тетке мне сказать почти нечего – она была ко мне равнодушна и старалась, чтобы я больше времени проводил в разных пионерлагерях и группах продленного дня – кстати сказать, удивительную красоту последнего словосочетания я вижу только сейчас.

Из своего детства я запомнил только то, что было связано, так сказать, с мечтой о небе. Конечно, не с этого началась моя жизнь – еще раньше была длинная светлая комната, полная других детей и больших пластмассовых кубиков, беспорядочно разбросанных по полу; были обледенелые ступени деревянной горки, по которым я торопливо топал вверх; были какие-то потрескавшиеся юные горнисты из крашеного гипса во дворе и много другого. Но вряд ли можно сказать, что все это видел я: в раннем детстве (как, быть может, и после смерти) человек идет

сразу во все стороны, поэтому можно считать, что его еще нет; личность возникает позже, когда появляется привязанность к какому-то одному направлению.

Я жил недалеко от кинотеатра «Космос». Над нашим районом господствовала металлическая ракета, стоящая на сужающемся столбе титанового дыма, похожем на воткнутый в землю огромный ятаган. Странно, но как личность я начался не с этой ракеты, а с деревянного самолета на детской площадке у своего дома. Это был не совсем самолет, а скорее домик с двумя окошками, к которому во время ремонта прибили сделанные из досок снесенного забора крылья и хвост, покрыли все это зеленой краской и украсили несколькими большими рыжими звездами. Внутри могло поместиться человека два-три, и еще был небольшой чердачок с глядящим на военкоматовскую стену треугольным окошком – по негласному дворовому соглашению этот чердачок считался пилотской кабиной, и когда самолет сбивали, сначала выпрыгивали те, кто сидел в фюзеляже, и только потом, когда земля уже с ревом неслась к окнам, пилот мог последовать за остальными – если, конечно, успевал. Я всегда старался оказаться пилотом и даже овладел умением видеть небо с облаками и плывущую внизу землю на месте кирпичной стены военкомата, из окон которого безысходно глядели волосатые фиалки и пыльные кактусы.

Я очень любил фильмы про летчиков; с одним из таких фильмов и было связано сильнейшее переживание моего детства. Однажды, в космически черный декабрьский вечер, я включил теткин телевизор и увидел на его экране покачивающийся крыльями самолет с пиковым тузом и крестом на фюзеляже. Я наклонился ближе к экрану, и на нем сразу же возник увеличенный фонарь кабины: за его толстыми стеклами улыбалось нечеловеческое лицо в очках вроде горнолыжных и в шлеме с блестящими эбонитовыми наушниками. Пилот поднял ладонь в перчатке с черным раструбом и помахал мне рукой. Потом на экране появился фюзеляж другого самолета, снятый изнутри: за двумя одинаковыми штурвалами сидели два летчика в полушубках и внимательно следили сквозь перехваченный стальными полосами плексиглас за эволюциями вражеского истребителя, летевшего совсем рядом.

– «Ме-сто девять», – сказал один летчик другому. – Сажать будут.

Другой, с красивым испитым лицом, кивнул головой.

– Зла на тебя не держу, – сказал он, видимо продолжая прерванный разговор. – Но запомни: чтоб у тебя это с Варей было на всю жизнь... До могилы.

Тут я перестал воспринимать происходящее на экране – меня поразила одна мысль, даже не мысль, а ее слабо осознанная тень (словно сама мысль проплыла где-то рядом с моей головой и задела ее лишь своим краем), – о том, что если я только что, взглянув на экран, как бы посмотрел на мир из кабины, где сидели два летчика в полушубках, то ничто не мешает мне попадать в эту и любую другую кабину без всякого телевизора, потому что полет сводится к набору ощущений, главные из которых я давно уже научился подделывать, сидя на чердаке краснозвездной крылатой избушки, глядя на заменяющую небо военкоматовскую стену и тихо гудя ртом.

Это неясное понимание так потрясло меня, что остаток фильма я досмотрел не очень внимательно, включаясь в телевизионную реальность только при появлении на экране дымных трасс или набегающего ряда стоящих на земле вражеских самолетов. «Значит, – думал я, – можно глядеть из самого себя, как из самолета, и вообще не важно, откуда глядишь, важно, что при этом видишь...» С тех пор, бредя по какой-нибудь зимней улице, я часто представлял себе, что лечу в самолете над заснеженным полем; поворачивая, я наклонял голову, и мир послушно кренился вправо или влево.

И все же тот человек, которого я с полной уверенностью мог бы назвать собой, сложился позже и постепенно. Первым проблеском своей настоящей личности я считаю ту секунду, когда

я понял, что кроме тонкой голубой пленки неба можно стремиться еще и в бездонную черноту космоса. Это произошло в ту же зиму, вечером, когда я гулял по ВДНХ. Я шел по пустой и темной заснеженной аллее; вдруг слева донеслось жужжание, похожее на звонок огромного телефона. Я повернулся и увидел его.

Откинувшись назад и сидя в пустоте, как в кресле, он медленно плыл вперед, и за ним так же медленно распрямлялись в пространстве шланги. Стекло его шлема было черным, и только треугольный блик горел на нем, но я знал, что он видит меня. Возможно, уже несколько веков он был мертв. Его руки были уверенно протянуты к звездам, а ноги до такой степени не нуждались ни в какой опоре, что я понял раз и на всю жизнь, что подлинную свободу человеку может дать только невесомость – поэтому, кстати, такую скуку вызывали у меня всю жизнь западные радиоголоса и сочинения разных солженицыных; в душе я, конечно, испытывал омерзение к государству, невнятные, но грозные требования которого заставляли любую, даже на несколько секунд возникающую группу людей старательно подражать самому похабному из ее членов, – но, поняв, что мира и свободы на земле не достичь, духом я устремился ввысь, и все, чего потребовал выбранный мною путь, уже не вступало ни в какие противоречия с моей совестью, потому что совесть звала меня в космос и мало интересовалась происходящим на Земле.

Передо мной была просто освещенная прожектором мозаика на стене павильона, изображавшая космонавта в открытом космосе, но она за один миг сказала мне больше, чем десятки книг, которые я прочел к этому дню. Я смотрел на нее долго-долго, а потом вдруг почувствовал, что кто-то смотрит на меня.

Я оглянулся и увидел у себя за спиной мальчика моего возраста, который выглядел довольно необычно – на нем был кожаный шлем с блестящими эбонитовыми наушниками, а на шее у него болтались пластмассовые плавательные очки. Он был выше меня на полголовы и, вероятно, чуть постарше; войдя в освещенную прожектором зону, он поднял ладонь в черной перчатке, растянул губы в холодной улыбке, и перед моими глазами на секунду мелькнул летчик в кабине истребителя с пиковым тузом.

Его звали Митёк. Оказалось, что мы живем совсем рядом, хоть и ходим в разные школы. Митёк сомневался во многих вещах, но одно знал твердо. Он знал, что сначала станет летчиком, а потом полетит на Луну.

Есть, видимо, какое-то странное соответствие между общим рисунком жизни и теми мелкими историями, которые постоянно происходят с человеком и которым он не придает значения. Сейчас я ясно вижу, что моя судьба уже вполне четко определилась в то время, когда я еще даже не задумывался всерьез над тем, какой бы я хотел ее видеть, и больше того – уже тогда она была мне показана в несколько упрощенном виде. Может быть, это было эхо будущего. А может быть, то, что мы принимаем за эхо будущего, – на самом деле семя этого будущего, падающее в почву в тот самый момент, который потом, издали, кажется прилетавшим из будущего эхом.

Короче, лето после седьмого класса было жарким и пыльным. Из его первой половины мне запомнились только долгие велосипедные прогулки по одному из подмосковных шоссе. На заднее колесо своего полугоночного «Спорта» я ставил специальную трещотку из куска сложенной в несколько раз плотной бумаги, прикрепленной к раме прищепкой, – когда я ехал, бумага билась о спицы и издавала быстрый тихий треск, похожий на шум авиационного двигателя. Несясь вниз с асфальтовой горы, я много раз становился заходящим на цель истребителем, далеко не всегда советским, но вина тут была не моя, просто в самом начале лета я услышал от кого-то идиотскую песню, в которой были слова: «Мой «Фантом», как пуля быстрый, в небе голубом и чистом с ревом набирает высоту». Надо сказать, что ее идиотизм, который я достаточно ясно осознавал, не мешал мне трогаться ею до глубины души. Какие еще я помню слова? «Вижу в небе дымную черту.. Где-то вдалеке родной Техас». И еще были отец, и мать, и какая-то Мэри, очень реальная из-за того, что в песне упоминалась ее фамилия.

К середине июля я вернулся в Москву, а потом родители Митька? достали для нас путевки в пионерлагерь «Ракета». Это был обычный южный лагерь, может быть даже немного лучше других. Я хорошо запомнил только первые дни, которые мы там провели, но именно тогда и случилось все то, что потом стало существенным. В поезде мы с Митьком бегали по вагонам и сбрасывали в унитазы все бутылки, которые мне удавалось найти, – они падали на несущееся под крохотным люком железнодорожное полотно и неслышно лопались; привязавшаяся ко мне песенка придавала этой простой процедуре привкус борьбы за свободу Вьетнама. На следующий день всю смену, ехавшую одним поездом, выгрузили на мокром вокзале южного города, пересчитали и посадили в грузовики. Мы долго ехали по дороге, петлявшей между гор, потом справа появилось море и к нам поплыли разноцветные домики. Нас выгрузили на асфальтовый плац, построили и повели вверх по обрамленной кипарисами лестнице к плоскому стеклянному зданию на вершине холма. Это была столовая, где нас ждал холодный обед, хотя пора было ужинать, – мы приехали на несколько часов позже, чем ожидалось. Обед был довольно невкусный – суп с макаронными звездочками, курица с рисом и компот.

С потолка столовой на нитях, облепленных какой-то липкой на вид кухонной дрянью, свисали картонные космические корабли. Я загляделся на один из них. Неизвестный оформитель потратил на него много фольги и густо исписал его словом «СССР». Корабль висел перед нашим столом, и на его фольге оранжево сияло закатное солнце, которое вдруг показалось мне похожим на прожектор поезда метро, зажигающийся в черной дали тоннеля. Отчего-то мне стало грустно.

Митёк, наоборот, был разговорчив и весел.

– В двадцатых годах были одни космические корабли, – говорил он, тыча вилкой вверх, – в тридцатых – другие, в пятидесятых вообще третьи, и так далее.

– Какие еще в двадцатых годах космические корабли? – вяло спросил я.

Митёк на секунду задумался.

– У Алексея Толстого были такие большие металлические яйца, в которых через крохотные промежутки времени происходили взрывы, дававшие энергию для движения, – сказал он. – Это основной принцип. Ну а вариантов может быть много.

– Так они же никогда на самом деле не летали, – сказал я.

– А эти тоже не летают, – ответил он и показал на предметы нашего разговора, которые чуть качались от сквозняка.

Я понял наконец, что он имел в виду, хотя вряд ли сумел бы четко это выразить в словах. Единственным пространством, где летали звездолеты коммунистического будущего – кстати, встречая слово «звездолет» в фантастических книгах, которые я очень любил, я почему-то считал, что оно связано с красными звездами на бортах советской космической техники, – так вот, единственным местом, где они летали, было сознание советского человека, точно так же как столовая вокруг нас была тем космосом, куда жившие в прошлую смену запустили свои корабли, чтобы те бороздили простор времени над обеденными столами, когда самих создателей картонного флота уже не будет рядом. Эта мысль наложилась на особую непередаваемую тоску, которую всегда вызывал у меня пионерлагерный компот из сухофруктов, и мне пришла в голову странная идея.

– Я раньше очень любил клеить пластмассовые самолеты, – сказал я, – сборные модели. Особенно военные.

– Я тоже, – ответил Митёк, – только давно.

– Гэдээровские наборы мне нравились. А в наших часто не было летчика. Тогда такая лажа получалась. Когда кабина пустая.

– Точно, – сказал Митёк. – А чего это ты об этом заговорил?

– Я вот думаю, – сказал я, показывая вилкой на висящий перед нашим столом картонный звездолет, – есть там внутри кто-нибудь или нет?

– Не знаю, – сказал Митёк. – Действительно, интересно.

Лагерь был расположен на пологом склоне горы; его нижняя часть образовывала что-то вроде парка. Митёк исчез, и я пошел туда один; через несколько минут я оказался в длинной и пустой кипарисовой аллее, где было уже полутемно. Вдоль асфальтовой пешеходной дорожки тянулась длинная проволочная сетка, на которой висели большие фанерные щиты с рисунками. На первом был пионер с простым русским лицом, глядящий вперед и прижимающий к бедру медный горн с флажком. На втором – тот же пионер с барабаном на ремне и палочками в руках. На третьем – он же, так же глядящий вдаль из-под поднятой для салюта руки. А дальше висел щит раза в два шире остальных и очень длинный – метра, наверно, в три. Он был двухцветным: справа, откуда я медленно шел, – красным, а дальше – белым, и делила эти два цвета набегающая на белое поле рваная волна, за которой оставался красный след. Я сначала не понял, что это такое, и только когда подошел ближе, узнал в переплетении красных и белых пятен лицо Ленина с похожим на таран выступом бороды и открытым ртом; у Ленина не было затылка – было только лицо, вся красная поверхность за которым уже была Лениным; он походил на бесплотного бога, как бы проходящего рябью по поверхности созданного им мира.

Я споткнулся о выбоину в асфальте и перевел взгляд на следующий щит – это был пионер, но уже в космическом костюме, с красным шлемом в руке; на шлеме была надпись «СССР» и острая антенна. Следующий пионер высовывался из летящей ракеты и отдавал честь рукой в тяжелой перчатке. И последним был пионер в скафандре, стоящий на веселой желтой поверхности Луны рядом с космическим кораблем, похожим на картонную ракету из столовой; у

него были видны только глаза, абсолютно такие же, как на остальных щитах, но из-за того, что вся остальная часть лица была скрыта шлемом, они казались полными невыразимой тоски.

Сзади долетели быстрые шаги – я обернулся и увидел Митька.

– Точно, – сказал он, подходя.

– Что точно?

– Смотри. – Он протянул ко мне ладонь, на которой было что-то темное. Я разглядел небольшую пластилиновую фигурку, голова которой была облеплена фольгой.

– Там внутри было маленькое картонное кресло, на котором он сидел, – сказал Митёк.

– Ты что, ракету из столовой разобрал? – спросил я.

Он кивнул.

– Когда?

– А только что. Минут десять назад. Самое странное, что там все... – Он скрестил пальцы, образовав из них решетку.

– В столовой?

– Нет, в ракете. Когда ее делали, начали с этого человечка. Слепили, посадили на стул и наглухо обклеили со всех сторон картоном.

Митёк показал мне обрывок картонки. Я взял его и увидел очень тщательно и мелко нарисованные приборы, ручки, кнопки, даже картину на стене.

– Но самое интересное, – задумчиво и как-то подавленно сказал Митёк, – что там не было двери. Снаружи люк нарисован, а изнутри на его месте стена с какими-то циферблатами.

Я еще раз поглядел на обрывок картонки и заметил иллюминатор, в котором голубела маленькая Земля.

– Найти бы того, кто эту ракету склеил, – сказал Митёк, – обязательно бы ему по морде дал.

– А за что? – спросил я.

Митёк не ответил. Вместо этого он размахнулся, чтобы швырнуть человечка за проволочную сетку, но я поймал его за руку и попросил отдать фигурку мне. Он не возражал, и следующие полчаса ушли у меня на то, чтобы отыскать пустую сигаретную пачку под футляр.

Эхо этого странного открытия настигло нас на следующий день, во время тихого часа. Открылась дверь, и Митька позвали; он вышел в коридор. Долетели обрывки разговора, несколько раз прозвучало слово «столовая», и все стало ясно. Я встал и вышел в коридор. Митька зажимали в углу усатый худой вожатый и рыжая низкая вожатая.

– Я тоже там был, – сказал я.

Вожатый одобрительно смерил меня взглядом.

– Вместе хотите ползти или по очереди? – спросил он.

Я увидел у него в руке зеленую сумку с противогазом.

– Ну как же они вместе поползут, Коля, – застенчиво сказала вожатая, – когда у тебя противогаз один. По очереди.

Митёк, чуть оглянувшись на меня, шагнул вперед.

– Надевай, – сказал вожатый.

Митёк надел противогаз.

– Ложись.

Он лег на пол.

– Вперед, – сказал Коля, щелкая секундомером.

Коридор был длиной во весь корпус, поверхность пола была затянута линолеумом, и когда Митёк пополз вперед, линолеум тихо, но неприятно завизжал. Конечно, Митёк не уложился в три минуты, которые назначил вожатый, – он не дополз за них даже в один конец, – но когда он

подполз к нам, Коля не заставил его повторить маршрут, потому что до конца тихого часа оставалось всего несколько минут. Митёк снял противогаз. Его лицо было красным, в каплях слез и пота, а на ступнях успели вздуться натертые о линолеум волдыри.

– Теперь ты, – сказал вожатый, передавая мне мокрый противогаз. – Приготовиться...

Загадочно и дивно выглядит коридор, когда смотришь в его затянутую линолеумом даль сквозь запотевшие стекла противогаза. Пол, на котором лежишь, холодит живот и грудь; дальний его край не виден, и бледная лента потолка сходится со стенами почти в точку. Противогаз слегка сжимает лицо, давит на щеки и заставляет губы вытянуться в каком-то полупоцелуе, относящемся, видимо, ко всему, что вокруг. До того, как тебя слегка пинают, давая команду ползти, проходит десятка два секунд; они тянутся томительно медленно, и успеваешь многое заметить. Вот пыль; вот несколько прозрачных песчинок в щели на стыке двух линолеумных листов; вот покрашенный сучок на планке, идущей по самому низу стены; вот муравей, ставший после смерти двумя тончайшими лепешечками и оставивший после себя маленький мокрый след в будущем – в полуметре, там, куда нога шедшего по коридору ступила через секунду после катастрофы.

– Вперед! – раздалось над моей головой, и я весело, искренне пополз вперед. Наказание казалось мне скорее шуткой, и я не понимал, чего это вдруг Митёк так скуксился. Первые метров десять я прополз мигом; потом стало труднее. Когда ползешь, в какой-то момент отталкиваешься от пола тыльной частью ступни, а кожа там тонкая и нежная, и если на ногах ничего нет, почти сразу же натираешь мозоли. Линолеум прилипал к телу, и казалось, что сотни мелких насекомых впиваются мне в ноги или что я ползу по свежепроложенному асфальту. Я удивился тому, как медленно тянется время, – в одном месте на стене висела большая пионерская акварель, изображавшая крейсер «Аврору» в Черном море, и я заметил, что уже довольно долго ползу мимо нее, а она все висит на том же месте.

И вдруг все изменилось. То есть все продолжалось по-прежнему – я так же полз по коридору, как и раньше, – но боль и усталость, дойдя до непереносимости, словно выключили что-то во мне. Или, наоборот, включили. Я заметил, что вокруг очень тихо, только под моими локтями скрипит линолеум, словно по коридору катится что-то на ржавых колесиках; за окнами, далеко внизу, шумит море, и где-то еще дальше, словно бы за морем, детскими голосами поет репродуктор:

Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко,
Не будь ко мне жестоко, жестоко не будь...

Жизнь была ласковым зеленым чудом; небо было неподвижным и безоблачным, сияло солнце – и в самом центре этого мира стоял двухэтажный спальный корпус, внутри которого проходил длинный коридор, по которому я полз в противогазе. И это было, с одной стороны, так понятно и естественно, а с другой – настолько обидно и нелепо, что я заплакал под своей резиновой мордой, радуясь, что мое настоящее лицо скрыто от вожатых и особенно от дверных щелей, сквозь которые десятки глаз глядят на мою славу и мой позор.

Еще через несколько метров мои слезы иссякли, и я стал лихорадочно искать какую-нибудь мысль, которая дала бы мне силы ползти дальше, потому что одного страха перед вожатым было уже мало. Я закрыл глаза, и настала ночь, бархатную тьму которой изредка пересекали вспыхивающие перед моими глазами звезды. Опять стала слышна далекая песня, и я тихо-тихо, а может быть и вообще про себя, запел:

От чистого истока в прекрасное далеко,
В прекрасное далеко я начинаю путь.

Над лагерем пронесся светлый латунный звук трубы – это был сигнал подъема. Я остановился и открыл глаза. До конца коридора оставалось метра три. На темно-серой стене передо мной висела полка, а на ней стоял желтый лунный глобус; сквозь запотевшие и забрызганные слезами стекла он выглядел размытым и нечетким; казалось, он не стоит на полке, а висит в сероватой пустоте.

Первый раз в жизни я выпил вина зимой, когда мне было четырнадцать лет. Произошло это в гараже, куда меня привел Митёк, – его брат, задумчивый волосатик, обманом избежавший армии, работал там сторожем. Гараж помещался на большой обнесенной забором территории, заставленной бетонными плитами, и мы с Митьком довольно долго лазили по ним, иногда оказываясь в удивительных местах, полностью отгороженных от всей остальной реальности и похожих на отсеки давно покинутого космического корабля, от которого остался только каркас, странно напоминающий нагромождение бетонных плит. К тому же фонари за косым деревянным забором горели загадочным и неземным светом, а в пустом и чистом небе висело несколько мелких звезд – словом, если бы не бутылки из-под сушняка и заледеневшие потеки мочи, вокруг был бы космос.

Митёк предложил пойти погреться, и мы направились к алюминиевой ребристой полусфере гаража, в которой тоже было что-то космическое. Внутри было темно; смутно виднелись контуры машин, от которых пахло бензином. В углу стояла дощатая будка со стеклянным окном, как бы пристроенная к стене; там горел свет. Мы с Митьком протиснулись внутрь, сели на узкой и неудобной лавке и молча напились чаю из облезлой жестяной кастрюли. Брат Митька курил длинные папиросы, разглядывал старый номер «Техники – молодежи» и совершенно никак не реагировал на наше присутствие. Митёк вытащил из-под лавки бутылку, со стуком поставил ее на цементный пол и спросил:

– Будешь?

Я кивнул, хоть мне и стало не по себе. Митёк до краев наполнил темно-красной жидкостью стакан, из которого я только что пил чай, протянул его мне; словно войдя в ритм какого-то процесса, я подхватил стакан, поднес его ко рту и выпил, удивившись, насколько мало усилий надо приложить для того, чтобы сделать что-то впервые. Пока Митёк с братом допивали остальное, я прислушивался к своим ощущениям, но со мной ничего не происходило. Я взял освободившийся журнал, наугад раскрыл его и попал на разворот с крохотными рисунками летательных аппаратов, названия которых надо было угадать. Один понравился мне больше других – это был американский самолет, крылья которого могли служить пропеллером на время взлета. Еще там была маленькая ракета с кабиной для пилота, но ее я не успел толком рассмотреть, потому что Митьков брат, молча и даже не подняв глаз, вытянул журнал из моих рук. Чтобы не показать обиды, я пересел к столу, на котором стояла банка с торчащим кипятильником и лежали полузасохшие очистки колбасы. Мне вдруг стало противно от мысли, что я сижу в этой маленькой заплеванной каморке, где пахнет помойкой, противно от того, что я только что пил из грязного стакана портвейн, от того, что вся огромная страна, где я живу, – это много-много таких маленьких заплеванных каморок, где воняет помойкой и только что кончили пить портвейн, а самое главное – обидно от того, что именно в этих вонючих чуланчиках и горят те бесчисленные разноцветные огни, от которых у меня по вечерам захватывает дух, когда судьба проносит меня мимо какого-нибудь высоко расположенного над вечерней столицей окна. И особенно обидным мне это показалось по сравнению с красивым американским летательным аппаратом из журнала. Я опустил глаза на газету, которой был застелен стол, – она была в жирных пятнах, в пропалинах от окурков и в круглых следах от стаканов и блюдец. Заголовки статей пугали какой-то ледяной нечеловеческой бодростью и силой – уже давно ведь ничто не стояло у них на пути, а они со страшным размахом все били и били в пустоту, и в этой пустоте спяну (а я заметил, что уже пьян, но не придавал этому значения) легко можно было оказаться и попасть замешкавшейся душой под какую-нибудь главную задачу дней или привет хлопкоробам.

Комната вокруг стала совершенно незнакомой; на меня внимательно глядел Митёк. Поймав мой взгляд, он подмигнул и спросил чуть заплетающимся языком:

– Ну что, полетим на Луну?

Я кивнул, и мои глаза остановились на маленькой колонке с названием «Вести с орбиты». Нижняя часть текста была оборвана, и в колонке оставалось только: «Двадцать восьмые сутки...», напечатанное жирным шрифтом. Но и этого было достаточно – я все сразу понял и закрыл глаза. Да, это было так – норы, в которых проходила наша жизнь, действительно были темны и грязны, и сами мы, может быть, были под стать этим норам – но в синем небе над нашими головами среди реденьких и жидких звезд существовали особые сверкающие точки, искусственные, медленно ползущие среди созвездий, созданные тут, на советской земле, среди блевоты, пустых бутылок и вонючего табачного дыма, – построенные из стали, полупроводников и электричества и теперь летящие в космосе. И каждый из нас – даже синелицый алкоголик, жабой затаившийся в сугробе, мимо которого мы прошли по пути сюда, даже брат Митька и уж конечно Митёк и я имел – там, в холодной чистой синеве, свое маленькое посольство.

Я выбежал во двор и, долго-долго глотая слезы, глядел на желто-голубой, неправдоподобно близкий шар луны в прозрачном зимнем небе.

Не помню момента, когда я решил поступать в летное училище. Не помню, наверно, потому, что это решение вызрело в душе и у меня и у Митька задолго до окончания школы. Перед нами на некоторое время встала проблема выбора – летных училищ было много по всей стране, – но мы решили все очень быстро, увидев в журнале «Советская авиация» цветной разворот-вклейку про жизнь Лунного городка при Зарайском Краснознаменном летном училище имени Маресьева. Мы сразу словно оказались в толпе курсантов, среди покрашенных желтой краской фанерных гор и кратеров, узнали будущих себя в стриженных ребятах, кувырркающихся на турнике и обливающихся застывшей на снимке водой из большого эмалированного таза такого нежно-персикового оттенка, что сразу вспоминалось детство, и этот цвет почему-то вызывал больше доверия и желания ехать учиться в Зарайск, чем все помещенные рядом фотографии авиационных тренажеров, похожих на кишачие людьми полуразложившиеся трупы самолетов.

Когда решение было принято, остальное оказалось несложным. Родители Митька, напуганные непонятной судьбой его старшего брата, были рады, что их младший сын окажется при таком уверенном и надежном деле; мой же отец к этому времени окончательно спился и большую часть времени лежал на диване лицом к стене, под ковром с пучеглазым оленем; по моему, он даже не понял, что я собираюсь в летчики, а тетке было все равно.

Помню город Зарайск. Точнее, нельзя сказать ни что я его помню, ни что я его забыл – настолько в нем мало того, что можно забыть или помнить. В самом его центре высилась белокаменная колокольня, с которой когда-то давно прыгнула на камни княгиня, и хоть прошло уже много веков, ее поступок в городе помнили. Рядом стоял музей истории, а неподалеку от него – отделения связи и милиции.

Когда мы вышли из автобуса, шел неприятный косой дождь и было холодно. Мы забились под навес подвала со словом «Агитпункт» и полчаса ждали, пока дождь пройдет. За дверью, кажется, пили; оттуда долетал густой луковый запах и голоса; кто-то долго предлагал спеть «мерси ку-ку», и, наконец, немолодые мужские и женские голоса затянули:

Пора-пора-порадуемся на своем веку...

Дождь перестал, мы пошли искать автобус и нашли тот самый, на котором приехали. Оказалось, что нам не надо было выходить и мы могли переждать дождь в салоне, пока водитель обедал. За окнами потянулись маленькие деревянные домики, потом они кончились и начался лес. В этом лесу, уже за городом, и было расположено Зарайское летное училище. До него надо было добираться пешком километров пять от конечной остановки автобуса, называвшейся «Овощной магазин», – магазина рядом не было, а это название осталось, как нам объяснили, с довоенных времен. Мы с Митьком сошли с автобуса и пошли по дороге, присыпанной размокшими осиновыми сережками; она вела все дальше в лес, и когда мы уже стали подумывать, что идем не туда, вдруг увидели сваренные из стальных труб ворота с большими жестяными звездами; по бокам лес упирался в высокий забор из некрашенных серых досок, по верху которого змеилась ржавая колючая проволока. Мы предъявили сонному солдату на проходной направления из райвоенкомата и недавно полученные паспорта, и нас впустили внутрь, велел идти к клубу, где скоро должна была начаться встреча.

В глубь небольшого поселка вела асфальтовая дорога, справа от которой сразу же начался тот самый Лунный городок, который я видел в журнале, он состоял из нескольких длинных одноэтажных бараков желтого цвета, десятка врытых в землю шин и участка, изображавшего панораму лунной поверхности. Мы прошли мимо и оказались у гарнизонного клуба – там у колонн толпились приехавшие поступать ребята. Вскоре к нам вышел офицер, назначил кого-то старшим и велел зарегистрироваться в приемной комиссии, а потом идти получать инвентарь.

Из-за жары приемная комиссия сидела в решетчатой беседке китайского вида во дворе клуба – это были три офицера, которые пили пиво под негромкую восточную музыку по радио и выдавали картонки с номерами в обмен на документы. Потом нас повели на край стадиона, заросшего высокой, в пояс, травой (видно было, что никто на нем уже лет десять ни во что не играл), и выдали две сложенных общевоинских палатки – в них нам предстояло жить во время экзаменов. Это были свернутые полотнища тяжелой резины, которые нам пришлось натягивать на врытых в землю деревянных шестах. Мы перезнакомились, таская в палатки койки, которые потом установили внутри в два яруса, – койки были старые, тяжелые, с никелированными шариками, которые можно было накрутить на спинку, если она не соединялась с койкой наверху. Эти шарики нам дали отдельно, в специальном мешочке, и когда экзамены кончились, я тайком свинтил один такой и спрятал его в ту же сигаретную пачку, где хранился пластилиновый пилот с головой из фольги – единственный свидетель далекого и незабываемого южного вечера.

Кажется, мы провели в этих палатках совсем немного времени, но когда их сняли, оказалось, что под резиновым полом успела вырасти отвратительно бесцветная, толстая и густая трава. Самих экзаменов я почти не запомнил. Помню только, что они оказались совсем не сложными, и даже было немного обидно, что не удалось поместить на экзаменационном листе все те формулы и графики, в которые впитались долгие весенние и летние дни, проведенные над раскрытыми учебниками. Мы с Митьком набрали нужные баллы без труда; потом было собеседование, которого все боялись больше всего. Его проводили майор, полковник и какой-то дедок с кривым шрамом на лбу, одетый в потертую техническую форму. Я сказал, что хочу в отряд космонавтов, и полковник спросил меня, что такое советский космонавт. Я долго не мог найти правильный ответ; наконец по тоске на лицах экзаменаторов я понял, что сейчас меня отправят в коридор.

– Хорошо, – заговорил молчавший до сих пор дедок, – а вы помните, как вам в голову пришла мысль стать космонавтом?

Я ощутил отчаяние, потому что совершенно не представлял, как надо правильно отвечать на этот вопрос. И, видимо от отчаяния, принялся рассказывать про красного пластилинового человечка и картонную ракету, из которой не было выхода. Дедок сразу оживился, заблестел глазами, а когда я дошел до того, как нам с Митьком пришлось ползти в противогазе по коридору, вообще схватил меня за руку и захохотал, отчего шрам у него на лбу стал совсем багровым. Потом он вдруг посерьезнел.

– А ты знаешь, – сказал он, – что это непростое дело – в космос летать? А если Родина попросит жизнь отдать? Тогда что, а?

– Это уж как водится, – насупившись, сказал я.

Тогда он уставился мне в глаза и смотрел, наверное, минуты три.

– Верю, – сказал он наконец, – можешь.

Услышав, что Митёк, который с детства хотел на Луну, поступает тоже, он записал его фамилию на листе бумаги. Митёк потом рассказывал, что старичок долго выяснял, почему именно на Луну.

На следующий день после завтрака на колоннах гарнизонного клуба появились списки с

фамилиями поступивших; мы с Митьком в списке стояли рядом, не по алфавиту. Кто-то поплелся на апелляцию, кто-то прыгал от радости на расчерченном белыми линиями асфальте, кто-то бежал к телефону, и над всем этим, помню, тянулась в выцветшем небе белая полоса инверсионного следа.

Зачисленных на первый курс позвали на встречу с летно-преподавательским составом – преподаватели уже ждали в клубе. Помню тяжелые бархатные шторы, стол во всю сцену и сидящих за ним официально строгих офицеров. Вел встречу молодежавый подполковник с острым хрящеватым носом; пока он говорил, я представлял его в летном комбинезоне и гермошлеме, сидящим в кабине пятнистого, как дорогие джинсы, МИГа.

– Ребята, очень не хочется вас пугать, очень не хочется начинать нашу беседу со страшных слов, так? Но вы ведь знаете: не мы с вами выбираем время, в которое живем, – время выбирает нас. Может быть, с моей стороны и неверно давать вам такую информацию, так, но все же я скажу...

Подполковник замолчал на секунду, нагнулся к сидящему рядом с ним майору и что-то сказал ему на ухо. Майор нахмурился, постучал, раздумывая, по столу тупым концом карандаша и потом кивнул.

– Значит, – заговорил подполковник тихим голосом, – недавно на закрытом совещании армейских политработников время, в которое мы живем, было определено как предвоенное!

Подполковник замолчал, ожидая реакции, но в зале, видимо, ничего не поняли – во всяком случае, ничего не поняли мы с Митьком.

– Поясняю, – сказал он тогда еще тише, – совещание было пятнадцатого июля, так? Значит, до пятнадцатого июля мы жили в послевоенное время, а с тех пор – месяц уже целый – живем в предвоенное, ясно или нет?

Несколько секунд в зале стояла тишина.

– Я это говорю не к тому, чтоб пугать, – заговорил уже нормальным голосом подполковник, – просто надо помнить, какая на наших с вами плечах ответственность, так? Вы правильно сделали, что пришли в наше училище. Сейчас я хочу сказать вам, что мы тут готовим не просто летчиков, а в первую очередь настоящих людей, так? И когда вы получите дипломы и воинские звания, будьте уверены, что к этому времени вы станете настоящими людьми с самой большой буквы, так, какая только бывает в советской стране.

Подполковник сел, поправил галстук и поймал губами край стакана – руки у него тряслись, и мне показалось, что я услышал тихий-тихий звон зубов о стекло. Встал майор.

– Ребята, – певуче сказал он, – хотя правильнее уже называть вас курсантами, но все же обращусь к вам так – ребята! Вспомните знаменитую историю легендарного персонажа, воспетого Борисом Полевым! Того, в чью честь названо наше училище! Он, потеряв в бою обе ноги, не сдался, а, встав на протезы, Икаром взмыл в небо бить фашистского гада! Многие говорили ему, что это невозможно, но он помнил главное – что он советский человек! Не забывайте этого и вы, никогда и нигде не забывайте! А мы, летно-преподавательский состав, и лично я, летающий замполит училища, обещаем: мы из вас сделаем настоящих людей в самое короткое время!

Потом нам показали наши места в казарме первого курса, куда нас перемещали из палаток, и повели в столовую. С ее потолка свисали на нитях пыльные МИГи и ИЛы, казавшиеся громадными воздушными островами рядом с эскадрильями быстрых черных мух. Обед был довольно невкусный: суп с макаронными звездочками, курица с рисом и компот. После еды очень захотелось спать; мы с Митьком еле добрались до коек, и я сразу уснул.

На следующее утро я проснулся от стога, полного боли и недоумения. На самом деле я уже давно слышал эти звуки сквозь сон, но полностью очнулся только от особенно громкого и страдальческого вскрика. Я открыл глаза и огляделся. На койках вокруг происходило какое-то непонятное медленно-мычащее шевеление – я попытался приподняться на локте, но не смог, потому что был, как оказалось, пристегнут к койке несколькими широкими ремнями наподобие тех, которыми стягивают распухшие чемоданы; единственное, что я мог, – это чуть поворачивать голову из стороны в сторону. С соседней койки на меня смотрели полные страдания глаза Славы, паренька из поселка Тында, с которым я вчера успел познакомиться, а нижняя часть его лица была скрыта под какой-то натянутой тряпкой. Я открыл было рот, чтобы спросить его, в чем дело, но обнаружил, что не могу пошевелить языком и вообще не чувствую всей нижней половины лица, словно она затекла. Я догадался, что мой рот тоже чем-то заткнут и перемотан, но удивиться этому не успел, потому что вместо удивления испытал ужас: там, где должны были быть Славины ступни, одеяло ступенькой ныряло вниз и на свеженакрахмаленном пододеяльнике проступали размытые красноватые пятна – такие оставляет на вафельных полотенцах арбузный сок. Самое страшное, что собственных ног я не чувствовал и не мог поднять голову, чтобы взглянуть на них.

– Пятый взвуд! – загремел в дверях необыкновенно богатый интонациями, полный множества намеков сержантский бас. – На перевязку!

И сейчас же в палату вошло человек десять – это были второкурсники и третьекурсники (правильнее сказать – курсанты второго и третьего года службы; об этом я догадался по нашивкам на их рукавах). Раньше я их не видел, а офицеры говорили, что они на картошке. Они были в странных сапогах с негнущимися голенищами и ступали не очень уверенно, держась то за стены, то за спинки кроватей. Еще я заметил нездоровую бледность их лиц, на которых застыл отпечаток многодневной муки, словно переплавленной в какую-то невыразимую готовность; как ни неуместно это было, но в этот момент я вспомнил слова пионерского заклинания, которые мы с Митьком вместе со всеми повторяли в пионерлагере, на асфальтовой площадке, – вспомнил и понял, в чем именно, крича: «Всегда готов!» – мы обманно уверяли себя, товарищей по линейке и прозрачное июльское утро.

Одну за другой курсанты выкатили в коридор койки, на которых мычали и извивались примотанные первогодки, и в комнате осталось только две – моя и стоявшая у окна, на которой лежал Митёк. Ремни не давали мне повернуть голову, но краем глаза я видел, что он лежит спокойно и вроде бы спит.

За нами пришли минут через десять, развернули ногами вперед и покатали по коридору. Один из курсантов толкал койку, а другой шел спиной вперед и тянул ее на себя; выглядело это так, словно он пятился по коридору, отталкивая несущуюся за ним койку. Мы зарулили в длинный узкий лифт с дверями с обеих сторон и поехали вверх, потом второкурсник пропятился от меня еще по одному коридору, и мы остановились возле обитой черным двери с большой коричневой табличкой, которую я не смог прочесть из-за своей неудобной позы. Дверь открылась, и меня вкатили в комнату, где под потолком висела огромная хрустальная люстра в виде авиабомбы, а по верхней части стены шла полоса выпуклого орнамента из серпов, молотов и увитых виноградом ваз.

С меня сняли ремни, и я приподнялся на локтях, стараясь не глядеть себе на ноги; передо мной в глубине комнаты стоял массивный письменный стол с зеленой лампой, освещенный косо падающим из высокого узкого окна серым светом. Сидящий за столом был от меня скрыт

развернутым номером «Правды», с первой страницы которой глядело морщинистое лицо с добрыми лучистыми глазами, наведенными прямо на меня. Заскрипел линолеум пола, и рядом с моей койкой затормозила койка Митька.

Газета несколько раз прошуршала переворачиваемыми страницами и легла на стол.

Перед нами сидел тот самый старичок со шрамом на лбу, который во время собеседования хватал меня за руку. Сейчас на нем был мундир генерал-лейтенанта с золотыми венниками на петлицах, волосы были тщательно приглажены, а взгляд был ясным и трезвым. И еще я заметил, что его лицо как бы повторяло лицо с обложки «Правды», которое глянуло на меня минуту назад; получилось совсем как в фильме, где вначале долго показывали одну икону, а потом на ее месте постепенно возникла другая – изображения были похожие, но разные, и из-за того, что момент перехода был размазан, казалось, что икона меняется на глазах.

– Поскольку нам с вами, ребята, предстоят еще довольно долгие отношения, можете называть меня «товарищ начальник полета», – сказал старичок. – Хочу вас поздравить – по итогам экзаменов и особенно собеседования, – тут старичок подмигнул, – вы зачислены сразу на первый курс секретной космической школы при первом отделе КГБ СССР. Так что настоящими людьми станете как-нибудь потом, а пока собирайтесь в Москву. Там и встретимся.

Смысл этих слов дошел до меня только в пустой палате, куда нас отвезли по тем же длинным коридорам, линолеум которых пел под крошечными стальными колесиками койки что-то тихое и исполненное ностальгии, заставившее меня непонятно почему вспомнить давний июльский полдень у моря.

Весь день мы с Митьком проспали – кажется, за прошлым ужином нас накормили каким-то снотворным (спать хотелось и на следующий день), – а вечером за нами зашел веселый желтоволосый лейтенант в громко скрипящих сапожках и, хохоча и балагурия, отвез по очереди наши койки на асфальтовый плац перед бетонной раковиной эстрады, где за столом сидело несколько высших генералов с интеллигентными добрыми лицами, и среди них – товарищ начальник полета. Мы с Митьком могли, конечно, пойти и сами, но лейтенант сказал, что это общий порядок для первого курса, и велел нам лежать тихо, чтобы не смущать остальных.

Из-за множества стоящих впритирку друг к другу коек плац был похож на двор автомобильного завода или тракторного комбината; над ним по сложной траектории порхал придавленный стон: исчезая в одном месте, он возникал в другом, в третьем – словно над койками носился огромный невидимый комар. По дороге желтоволосый лейтенант сказал, что сейчас начнется выпускной вечер, совмещенный с последним госэкзаменом.

А вскоре он сам, первый из полусотни таких же лейтенантов, волнуясь и бледнея, но с неподражаемым мастерством танцевал перед приемной комиссией «Калинку» под скупую на лишний перебор гармонь летающего замполита. Фамилия лейтенанта была Ландратов – я услышал ее, когда начальник полета вручил ему раскрытую красную книжечку и поздравил с получением диплома. Потом тот же танец исполняли остальные, и под конец мне наскучило смотреть на них. Я повернулся к начинавшемуся сразу за плацем полю стадиона и вдруг понял, почему над ним стелется такой высокий бурьян.

Я долго глядел, как его стебли качаются под ветром. Мне казалось, что серый, растрескавшийся от дождей забор с колючкой, начинающийся сразу за развалившимися футбольными воротами, – это и есть Великая Стена, и, несмотря на все отодранные и покосившиеся доски, она, как и тысячи лет назад, тянется с полей далекого Китая до города Зарайска и делает древнекитайским все появляющееся на ее фоне: и решетчатые беседки, где в жару работает приемная комиссия, и списанный ржавый истребитель, и древние общевойсковые шатры, на которые я гляжу со своей койки, сжимая под одеялом свинченный на память никелированный шарик.

На следующий день грузовик провез нас с Митьком по летнему лесу и полю; мы сидели на своих рюкзаках, прислонясь к прохладному стальному борту. Помню качающийся край брезентовой полости, за которым мелькали стволы деревьев и усохшие серые столбы давно оборванного телеграфа. Время от времени деревья расступались и вверху мелькал треугольник задумавшегося бледного неба. Потом была остановка и пять минут тишины, перемежавшейся только далеким тяжелым стуком; вышедший по нужде шофер объяснил, что это бьют короткими очередями несколько пулеметов на стрельбище пехотного училища имени Александра Матросова. Опять началась долгая тряска в кузове; я заснул, а проснулся на несколько секунд уже в Москве, когда в брезентовой щели мелькнули – будто из какого-то далекого школьного лета – арки «Детского мира».

Часто в детстве я представлял себе газетный разворот, еще пахнувший свежей краской, с моим большим портретом посередине (я в шлеме и улыбаюсь) и подписью: «Космонавт Омон Кривомазов чувствует себя отлично!» Сложно понять, почему мне этого так хотелось. Я, наверное, мечтал прожить часть жизни через других людей – через тех, кто будет смотреть на эту фотографию и думать обо мне, представлять себе мои мысли, чувства и строй моей души. И самое, конечно, главное – мне хотелось самому стать одним из других людей; уставиться на собственное, составленное из типографских точек лицо, задуматься над тем, какие этот человек любит фильмы и кто его девушка, – а потом вдруг вспомнить, что этот Омон Кривомазов и есть я. С тех пор, постепенно и незаметно, я изменился. Меня перестало слишком интересовать чужое мнение, потому что я знал: до меня другим все равно не будет никакого дела, и думать они будут не обо мне, а о моей фотографии с тем же безразличием, с которым я сам думаю о фотографиях других людей. Поэтому новость о том, что мой подвиг останется никому не известным, не была для меня ударом; ударом была новость, что придется совершать подвиг.

Конец ознакомительного отрывка книги

[Скачать полный вариант книги](#)